

Тарас Шевченко

Художник

Москва
Книга по Требованию

УДК 82-3

ББК 84

Тарас Шевченко

Художник / Тарас Шевченко – М.: Книга по Требованию, 2011. – 100 с.

ISBN 978-5-458-03795-2

Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года в селе Кирилловке Звенигородского уезда Киевской губернии в имении помещика Энгельгардта в семье крепостного крестьянина. На восьмом году, лишившись отца и матери, маленький Тарас приютился у дядька в школе.

В 1838, после того как был выкуплен у помещика, поступил в Петербургскую АХ. В 1847 за участие в Кирилло-Мефодиевском Тарас Шевченко арестован и определен рядовым в отдельный Оренбургский корпус. В 1858 вернулся в Петербург.

Сборник стихов «Кобзарь» (1840; более полное издание — 1860); поэмы «Катерина» (1839), «Гайдамаки» (1841), «Сон» (1844), «Наймичка» (1845), «Неофиты» (1857), «Мария» (1859), пьеса «Назар Стодоля» (1843).

Поэзию Тараса Шевченко, проникнутую любовью к Украине, состраданием к тяжелой доле народа, протестом против всех форм его социального и национального угнетения, отличают близость к народному творчеству, глубокий лиризм, «простота и поэтическая грация выражения» (И. Франко). Живопись Тараса Шевченко положила начало реалистическому направлению в украинском искусстве (картина «Катерина», 1842; серия рисунков «Притча о блудном сыне», 1856-57). Акварельные пейзажи, психологические портреты, офорты (серия «Живописная Украина», 1844).

ISBN 978-5-458-03795-2

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Шевченко Тарас
Художник

Тарас Шевченко
Художник
25 января 1856

Великий Торвальдсен[1] начал свое блестящее артистическое поприще вырезыванием орнаментов и тритонов[2] с рыбьими хвостами для тупоносых копенгагенских кораблей. Герой мой тоже, хотя и не так блестящее, но тем не менее артистическое поприще начал растиранием охры и мумии в жерновах и крашением полов, крыш и заборов. Безотрадное, безнадежное начинание. Да и много ли вас, счастливец гениев-художников, которые иначе начинали? Весьма и весьма немного. В Голландии, например, во время самого блестящего золотого ее периода, Остаде[3], Бергем[4], Теньер[5] и целая толпа знаменитых художников (кроме Рубенса[6] и Ван-Дейка[7]) в лохмотьях начинали и кончали свое великое поприще. Несправедливо было бы указывать на одну только меркантильную Голландию. Разверните Вазари[8] и там увидите то же самое, если не хуже. Я говорю потому хуже, что тогда даже политика наместников святого Петра требовала изящной декорации для ослепления толпы и затмения еретического учения Виклефа и Гуса[9], уже начинавшего воспитывать неустрашимого доминиканца Лютера[10]. И тогда, говорю, когда Лев X и Леон III[11] спохватились и сыпали золото встречному и поперечному маляру и каменщику, и в то золотое время умирали великие художники с голоду, как, например, Корреджио и Цампиери[12]. И так случалось (к несчастью, весьма нередко) всегда и везде, куда только проникало божественное живоворящее искусство!

И в наш девятнадцатый просвещенный век, век филантропии и всего клонящегося к пользе человечества, при всех своих средствах отстранить и укрыть жертвы "Карающей богине обреченной".

За что же, вопрос, этим олицетворенным ангелам, этим представителям живой добродетели на земле выпадает почти всегда такая печальная, такая горькая доля? Вероятно, за то, что они ангелы во плоти.

Эти рассуждения ведут только к тому, что отдаляют от читателя предмет, который я намерен ему представить как на ладони.

Летние ночи в Петербурге я почти всегда проводил на улице или где-нибудь на островах, но чаще всего на академической набережной. Особенно мне нравилось это место, когда Нева спокойна и, как гигантское зеркало, отражает в себе со всеми подробностями величественный портик Румянцевского музея, угол сената и красные занавеси в доме графини Лаваль. В зимние длинные ночи этот дом

освещался внутри, и красные занавеси, как огонь, горели на темном фоне, и мне всегда досадно было, что Нева покрыта льдом и снегом и декорация теряет свой настоящий эффект.

Любил я также летом встречать восход солнца на Троицком мосту. Чудная, величественная картина!

В истинно художественном произведении есть что-то обаятельное, прекраснее самой природы, - это возвышенная душа художника, это божественное творчество. Зато бывают и в природе такие чудные явления, перед которыми поэт-художник падает ниц и только благодарит творца за сладкие, душу чарующие мгновения.

Я часто любовался пейзажами Щедрина[13], и в особенности пленяла меня его небольшая картина "Портичи перед закатом солнца". Очаровательное произведение! Но оно меня никогда не очаровывало так, как вид с Троицкого моста на Выборгскую сторону перед появлением солнца.

Однажды, насладившись вполне этою нерукотворною картиною, я прошел в Летний сад отдохнуть. Я всегда, когда мне случилось бывать в Летнем саду, не останавливался ни в одной аллее, украшенной мраморными статуями: на меня эти статуи делали самое дурное впечатление, особенно уродливый Сатурн[14], пожирающий такое же, как и сам, уродливое свое дитя. Я проходил всегда мимо этих неуклюжих богинь и богов, и садился отдохнуть на берегу озера, и любовался прекрасною гранитною вазою и величественною архитектурою Михайловского замка[15].

Приближаясь к тому месту, где большую аллею пересекает поперечная аллея и где в кругу богинь и богов Сатурн пожирает свое дитя, я чуть было не наткнулся на живого человека в тиковом грязном халате, сидящего на ведре, как раз против Сатурна.

Я остановился. Мальчик (потому что это действительно был мальчик лет четырнадцати или пятнадцати) оглянулся и начал что-то прятать за пазуху. Я подошел к нему ближе и спросил, что он здесь делает.

- Я ничего не делаю, - отвечал он застенчиво. - Иду на работу, да по дороге в сад зашел. - И, немного помолчав, прибавил: - Я рисовал.

- Покажи, что ты рисовал.

И он вынул из-за пазухи четвертку серой писчей бумаги и робко подал мне. На четвертке был назначен довольно верно контур Сатурна.

Долго я держал рисунок в руках и любовался запачканным лицом автора. В неправильном и худощавом лице его было что-то привле-

кательное, особенно в глазах, умных и кротких, как у девочки.

- Ты часто ходишь сюда рисовать? - спросил я его.

- Каждое воскресенье, - отвечал он, - а если близко где работаем, то и в будни захожу.

- Ты учишься малярному мастерству?

- И живописному, - прибавил он.

- У кого же ты находишься в ученьи?

- У комнатного живописца Ширяева[16].

Я хотел расспросить его подробнее, но он взял в одну руку ведро с желтой краской, а в другую желтую же обтертую большую кисть и хотел идти.

- Куда ты торопишься?

- На работу. Я и то уж опоздал, хозяин придет, так достанется мне.

- Зайди ко мне в воскресенье поутру, и если есть у тебя какие-нибудь рисунки своей работы, то принеси мне показать.

- Хорошо, я приду, только где вы живете?

Я записал ему адрес на его же рисунке, и мы расстались.

В воскресенье поутру рано я возвратился из всенощной своей прогулки, и в коридоре перед N моей квартиры встретил меня мой новый знакомый, уже не в тиковом грязном халате, а в чем-то похожем на сюртук коричневого цвета, с большим свертком бумаги в руке. Я поздоровался с ним и протянул ему руку; он бросился к руке и хотел поцеловать. Я отдернул руку: меня сконфузило его раболопие. Я молча вошел в квартиру, а он остался в коридоре. Я снял сюртук, надел блузу, закурил сигару, а его все еще нет в комнате. Я вышел в коридор, смотрю, приятеля моего как не бывало. Я сошел вниз, спрашиваю дворника: не видал такого? "Видал, - говорит, - мало-мало с бумагами в руке, выбежал на улицу". Я на улицу - и след простыл. Мне стало грустно, как будто я потерял что-то дорогое мне. Скучал я до следующего воскресенья и никак не мог придумать, что бы такое значил внезапный побег моего приятеля? Дождавшись воскресенья, я во втором часу ночи пошел на Троицкий мост и, полюбовавшись восходом солнца, пошел в Летний сад, обошел все аллеи, - нет моего приятеля. Хотел было уже идти домой, да вспомнил Аполлона Бельведерского[17], т. е. пародию на Бельведерского бога, стоящего особнячком у самой Мойки. Я туда. А приятель мой тут как тут. Увидя меня, он бросил рисовать и покраснел до ушей, как ребенок, пойманный за кражею варенья. Я взял его за дрожавшую руку и, как преступника, повел в павильон. И мимоходом велел трактирному заспанному гарсону принести чаю.

Как умел, обласкал моего приятеля, и, когда он пришел в себя, я спросил его, зачем он убежал из коридора.

- Вы на меня рассердились. И я испугался, - отвечал он.

- И не думал я на тебя сердиться, - сказал я ему. - Но мне неприятно было твое унижение. Собака только руки лижет, а человек этого не должен делать. - Это сильное выражение так подействовало на моего приятеля, что он опять было схватил мою руку.

Я рассмеялся, а он покраснел, как рак, и стоял молча, потупя голову. Напившись чаю, мы расстались. На расставаньи я сказал ему, чтобы он непременно зашел ко мне или сегодня, или в следующее воскресенье.

Я не имею счастливой способности сразу разгадывать человека, зато имею несчастную способность быстро сближаться с человеком. Потому, говорю, несчастную, что редкое быстрое сближение мне обходилось даром. В особенности с кривыми и косыми: эти кривые и косые дали мне знать себя. Сколько ни случалось мне с ними встречаться, хоть бы один из них порядочный человек. Начисто дрянь. Или это уже мое такое счастье.

Всего третий раз я вижу моего нового знакомого, но я уже с ним сблизился, я уже к нему привязался, уже полюбил его. И действительно, в его физиономии было что-то такое, чего нельзя не полюбить. Физиономия его, сначала некрасивая, с часу на час делалась для меня привлекательнее. Ведь есть же _на свете такие счастливые физиономии!

Я пошел прямо домой, боялся, чтобы не заставить приятеля своего ждать себя в коридоре. Что же? Вхожу на лестницу, а он уже тут. В том же коричневом сюртучке, умытый, причесанный и улыбающийся.

- Ты порядочный скороход, - сказал я. - Ведь ты еще заходил к себе на квартиру? Как же ты успел так скоро?

- Да я торопился, - отвечал он, - чтобы быть дома, как хозяин от обедни придет.

- Разве у тебя хозяин строгий? - спросил я.

- Строгий и...

- И злой, ты хочешь сказать.

- Нет, скупой, хотел я сказать. Он побьет меня, а сам рад будет, что я опоздал к обеду.

Мы вошли в комнату. У меня стояла на мольберте копия с старика Веласкеса[18], что в Строгановой галерее, и он прильнул к ней глазами. Я взял у него из рук сверток, развернул и стал рассматривать. Тут было все, что безобразит Летний сад, от вертявых, сладко

улыбающихся богинь до безобразного Фраклита и Гераклита[19]. А в заключение несколько рисунков с барельефов, украшающих фасады некоторых домов, в том числе и барельефы из купидонов, украшающие дом архитектора Монферрана, что на углу набережной Мойки и Фонарного переулка.

Одно, что меня поразило в этих более нежели слабых контурах, это необыкновенное сходство с оригиналами, особенно контуры Фраклита и Гераклита. Они выразительнее были своих подлинников, правда, и уродливее, но все-таки на рисунки нельзя было смотреть равнодушно.

Я в душе радовался своей находке. Мне и в голову тогда не пришло спросить себя, что я буду делать с моими больше нежели ограниченными средствами с этим алмазом в коже? Правда, у меня и тогда мелькнула эта мысль, да тут же и окунулась в посповище: "Бог не без милости, козак не без доли".

- Отчего у тебя нет ни одного рисунка оттушеванного? - спросил я его, отдавая ему сверток.

- Я рисовал все эти рисунки поутру рано, до восхода солнца.

- _Значит, ты не видал их, как они освещаются?

- Я ходил и днем смотреть на них, но тогда нельзя было рисовать, люди ходили.

- Что же ты намерен теперь делать: остаться у меня обедать или идти домой?

Он, с минуту помолчав и не подымая глаз, едва внятно сказал:

- Я остался бы у вас, если вы позволите.

- А как же ты после разделаешься с хозяином?

- Я скажу, что спал на чердаке.

- Пойдем же обедать.

У мадам Юргенс еще посетителей никого не было, когда мы пришли, и я был очень рад. Мне неприятно было бы встретить какую-нибудь чиновничью вытуженную физиономию, бессмысленно улыбающуюся, глядя на моего, далеко не щеголя, приятеля.

После обеда я думал было повести его в Академию и показать ему "Последний день Помпеи". Но не все вдруг. После обеда я предложил ему или идти погулять на бульвар, или читать книгу. Он выбрал последнее. Я же, чтобы проэкзаменовать его и в этом предмете, заставил читать вслух. На первой странице знаменитого романа Диккенса "Никлас Никльби"[20] я заснул. Но в этом ни автор, ни чтец не повинны: мне просто хотелось спать, потому что я ночью не спал.

Когда я проснулся и вышел в другую комнату, мне как-то прият-

но бросилась в глаза моя отчаянная студия. Ни окурков сигар, ни табачного пеплу нигде не было заметно, везде все было убрано и выметено, даже палитра, висевшая на гвозде с засохшими красками, и она была вычищена и блестела как стеклышко; а виновник всей этой гармонии сидел у окна и рисовал маску знаменитой натурщицы Торвальдсена Фортунаты.

Все это было для меня чрезвычайно приятно. Эта услуга явно говорила в его пользу. Я, однако ж, не знаю почему, не дал ему заметить моего удовольствия. Поправил ему контур, проложил тени, и мы отправились в "Капернаум" чай пить. "Капернаум" - сиречь трактир "Берлин" на углу Шестой линии и Академического переулка. Так окрестил его, кажется, Пименов[21] во время своего удалого студенчества.

За чаем рассказал он мне про свое житье-бытье. Грустный, печальный рассказ. Но он рассказал его так наивно-просто, без тени ропота и укоризны. До этой исповеди я думал о средствах к улучшению его воспитания, но, выслушавши исповедь, и думать перестал. Он был крепостной человек.

Меня так озадачило это грустное открытие, что я потерял всякую надежду на его переобразование. Молчание длилось по крайней мере полчаса. Он разбудил меня от этого столбняка своим плачем. Я взглянул на него и спросил, чего он плачет? "Вам неприятно, что я..." Он не договорил и залился слезами. Я разуверил его, как мог, и мы возвратились ко мне на квартиру.

Дорогой встретился нам старик Венецианов[22]. После первых приветствий он пристально посмотрел на моего товарища и спросил, добродушно улыбаясь:

- Не будущий ли художник?

Я сказал ему:

- И да, и нет.

Он спросил причину. Я объяснил ему шепотом. Старик задумался, пожал мне крепко руку, и мы расстались.

Венецианов своим взглядом, своим пожатием руки как бы упрекнул меня в безнадежности. Я ободрился и, вспомнив некоторых художников, учеников и воспитанников Венецианова, увидел, правда неясно, что-то вроде надежды на горизонте.

Protege мой ввечеру, прощаясь со мною, просил у меня какого-нибудь эстампика срисовать. У меня случился один экземпляр, в то время только что напечатанный, "Геркулес Фарнезский", выгравированный Служинским[23] по рисунку Завьялова, и еще "Аполлино" Лосенка[24]. Я завернул оригиналы в лист петергофской бумаги,

снабдил его итальянскими карандашами, дал наставление, как предохранять их от жесткости, и мы вышли на улицу. Он пошел домой, а я к старику Венецианову.

Не место, да и некстати распространяться здесь об этом человеколюбце-художнике; пускай это сделает один из многочисленных учеников его, который подробнее меня знает все его великодушные подвиги на поприще искусства.

Я рассказал старику все, что знал о моей находке, и просил его совета, как мне действовать на будущее время, чтобы привести дело к желаемым результатам. Он, как человек практический в делах такого рода, не обещал мне и не советовал ничего положительного.

Советовал только познакомиться с его хозяином и по мере возможности стужеживать его настоящее жесткое положение.

Я так и сделал. Не дожидаясь воскресенья, я на другой день до восхода солнца пошел в Летний сад, но увы! не нашел там моего приятеля; на другой день тоже, на третий тоже. И я решился ждать, что воскресенье скажет.

В воскресенье поутру явился мой приятель. И на спрос мой, почему он не был в Летнем саду, сказал мне, что у них началась работа в Большом театре (в то время Кавос[25] переделывал внутренность Большого театра) и что по этой причине он теперь не может посещать Летний сад.

И это воскресенье мы провели с ним, как и прошедшее. Вечеру, уже расставаясь, я спросил имя его хозяина и в какие часы он бывает на работе.

На следующий же день я зашел в Большой театр и познакомился с его хозяином. Расхвалил безмерно его припорохи и потолочные чертежи собственной его композиции, чем и положил прочный фундамент нашему знакомству.

Он был цеховой мастер живописного и малярного цеха. Держал постоянно трех, иногда и более замарашек в тиковых халатах под именем учеников и, смотря по надобности, от одного до десяти нанимал, поденно и помесечно, костромских мужичков - маляров и стекольщиков, - следовательно, он был в своем цеху не последний мастер и по искусству, и по капиталу. Кроме помянутых материальных качеств, я у него увидел несколько гравюр на стенах, Одрана [26] и Вольпато[27], а на комодке несколько томов книг, в том числе и "Путешествие Анахарсиса Младшего"[28]. Это меня ободрило. Но, увы! когда я ему издали намекнул об улучшении состояния его тиковых учеников, он удивился такой дикой мысли и начал мне

доказывать, что это не повело бы ни к чему больше, как к собственной их же гибели.

На первый раз я ему не противоречил. Да и напрасно было б уверять его в противном. Люди материальные и неразвитые, прожившие свою скудную юность в грязи и испытаниях и кое-как выползшие на свет божий, не веруют ни в какую теорию. Для них не существует других путей к благосостоянию, кроме тех, которые они сами прошли. А часто к этим грубым убеждениям примешивается еще грубейшее чувство: меня, дескать, не гладили по головке, за что я буду гладить?

Мастер живописного цеха, кажется, не чужд был этого античеловеческого чувства. Мне, однако, со временем удалось уговорить его, чтобы он не препятствовал моему протеже посещать меня по праздникам и в будни, когда работы не бывает, например, зимою. Он хотя и согласился, но все-таки смотрел на это как на баловство, совершенно ни к чему не ведущее, кроме погибели. Он чуть-чуть не угадал.

Минуло лето и осень, настала зима. Работы в Большом театре были окончены, театр открыт, и очаровательница Тальони начала свои волшебные операции. Молодежь из себя выходила, а старичье просто бесновалось. Одни только суровые матроны и отчаянные львицы упорно дулися и во время самых неистовых аплодисментов с презрением произносили "Mauvais genre". А неприступные пуританки хором воскликнули: "Разврат! разврат! открытый публичный разврат!" И все эти ханжи и лицемерки не пропускали ни одного спектакля Тальони. И когда знаменитая артистка согласилась быть *princesse Troubeckou* - они первые оплакивали великую потерю и осуждали женщину за то, чего сами не могли сделать при всех косметических средствах.

Карл Великий[29] (так называл покойный Василий Андреевич Жуковский покойного же Карла Павловича Брюллова) безгранично любил все прекрасные искусства, в чем бы они ни проявлялись, но к современному балету он был почти равнодушен, и если говорил он иногда о балете, то не иначе, как о сахарной игрушке. В заключение своего триумфа Тальони протанцевала качучу в балете "Хитана"[30]. В тот же вечер разлетелась качуча по всей нашей Пальмире[31]. А на другой день она уже властвовала в палатах аристократа и в скромном уголке коломенского чиновника. Везде качуча: и дома, и на улице, и за рабочим столом, и в трактире, и... за обедом, и за ужином - словом, всегда и везде качуча. Не говорю уже про вечера и вечеринки, где качуча сделалась необходимым делом.